

Второго марта того же года. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskayaaludmila.ru](http://ulitskayaaludmila.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://ulitskayaaludmila.ru/> приятного чтения!

Второго марта того же года. Людмила Евгеньевна Улицкая

Зима была ужасная: особенно сырой и душный мороз, особенно грязное ватное одеяло на самые плечи опустившегося неба. Еще с осени слег прадед, он медленно умирал на узкой ковровой кушетке, ласково глядя вокруг себя провалившимися желтовато-серыми глазами и не снимая филактерии с левой руки... Правой же он придерживал на животе плоскую, обшитую серой стершейся саржей электрогрелку, образчик технического прогресса начала века, привезенный из Вены сыном Александром перед той еще войной, когда вернулся домой после восьмилетнего обучения за границей молодым профессором медицины.

Греть живот, вообще-то, было строго запрещено, но под этим слабым неживым теплом утихала боль, и сын-онколог уступил в конце концов просьбе старика и разрешил грелку. Он хорошо представлял себе и размеры опухоли, и области метастазирования, исключаящие операцию, и преклонялся перед тихим мужеством отца, который во всю свою девяностолетнюю жизнь ни на что не пожаловался, ни на что не посетовал.

Приходила из школы правнучка Лилечка, любимица, с блестящими коричневыми глазами и матовыми черными волосами, в коричневом форменном платье, вся в следах мела и лиловых чернил, ласковая, розовая, влезала с краю на кушетку, под больной бок, натягивала на себя плед, ворохаясь локтями и пухлыми коленями, и шептала прадеду в исхудавшее волосатое ухо:

- Ну, рассказывай...

И старый Аарон рассказывал - то про Даниила, то про Гедеона. Про богатырей, красавиц, мудрецов и царей с мудренными именами, которые все были давно умершими родственниками, но впечатление у девочки оставалось такое, что прадед Аарон, по своей древности, некоторых знал и помнил.

Зима эта была ужасной и для Лилечки: она тоже чувствовала особую тяжесть неба, домашнее уныние и враждебность уличного воздуха. Ей шел двенадцатый год. Болело под мышками, и противно чесались соски, и временами накатывала волна гадливого отвращения к этим маленьким припухlostям, грубым темным волоскам, мельчайшим гнойничкам на лбу, и вся душа вслепую противилась всем этим неприятным, нечистым переменам тела. И все, все сплошь было пропитано отвращением и напоминало о морковно-желтой жирной пленке на грибном супе: и унылый Гедике, которого она ежедневно мучила на холодном пианино, и шерстяные колючие рейтузы, которые она натягивала на себя по утрам, и мертво-лиловые обложки тетрадей... И только под боком у прадеда, пахнущего камфарой и старой бумагой, она освобождалась от тягостного наваждения.

Бабушка Бела Зиновьевна, профессор, специалист по кожным заболеваниям, и Александр Ааронович были крепконогой парой, дружно тянущей немалый воз. Александр Ааронович, по-домашнему Сурик, был высокий, костистый и широкоухий человек, автор незамысловатых шуток и хитроумнейших операций, он любил говорить, что всю свою жизнь предан двум дамам: Белочке и медицине. Низенькая полная Белочка, с наведенными бровями, красно на помаженным ртом и яркой сединой, конкуренции не боялась.

Какое-то странное волнение касалось их обоих, когда, придя с работы, они заставляли старика и девочку в самозабвенном общении. Переглядывались, и Белочка смахивала слезу от уголка подведенного глаза. Сурик многозначительно и предостерегающе постукивал пальцами по столу, Бела поднимала вверх раскрытую ладонь - как будто это была азбука для глухонемых. Множество было у них таких движений, знаков, тайных бессловесных сообщений, так что в словах они мало нуждались, улавливая все взаимными сердечными токами.

Уходит старый отец, понимали эти еще молодые старики, и на пороге смерти передает свое сомнительное богатство младшему колону, девочке на пороге девичества. И хотя ветхие сказки древнего народа казались ученым профессорам наивной и изношенной одеждой человеческой мысли, а собственное их мышление было выточено и дисциплинировано школой европейского позитивизма в Вене и в Цюрихе, приучено к ловкой научной игре, и поклонялись они лишь одному картонному богу -

Второго марта того же года. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru изворотливому факту и мужественно существовали в честном и прискорбном атеизме, оба они чувствовали, что здесь, на вытертой кушетке, рядом со снисходительно-неторопливой смертью процветал небывалый оазис. Здесь не было ни врачей-отравителей, ни мистического страха перед их злоумышлениями, охватившего миллионы людей. Дух этой действительной отравы – страха, гнусности и чертовщины – отступал только здесь, и, удрученные, ежедневно готовые к аресту, высылке, к чему угодно, ученые профессора медлили уходить из столовой, общей комнаты, где болел старик, к своим обычным научным занятиям, а садились в кресла возле редчайшей тогда редкости, телевизора, впрочем невключенного, и вслушивались в старческое распевное воркование: речь шла о Мордехе и Амане.

Они улыбались друг другу, тосковали и молчали о том безумии, в которое окунались каждый день за порогом своего дома...

Пережив большую войну, потеряв братьев, племянников, многочисленную родню, но сохранив друг друга, свою малую семью, всю полноту взаимного доверия, дружбы и нежности, добившись добротного и невызывающего успеха, они, казалось, могли бы еще полное десятилетие, пока здоровье, силы и опыт были в счастливом равновесии, жить так, как им всегда хотелось: с аппетитом работать всю чрезмерно плотную неделю, уезжать с субботы на воскресенье на новую, недавно отстроенную дачу, играть в четыре руки Шуберта на плохоньком дачном инструменте, купаться в послеобеденные часы в кувшинчатой темной речушке, пить чай из самовара на деревянной веранде в косых лучах заходящего солнца, вечером читать Диккенса или Мериме и одновременно засыпать, обнявшись таким отлежавшимся за сорок с лишним лет образом, что и непонятно – форма ли выпуклостей и вогнутостей их тел в определенных позах гарантирует их устойчивое удобство, или за эти годы, проведенные в ночном объятии, сами тела деформировались навстречу друг другу, чтобы образовать это единение.

И вполне, вполне, через головы их седые, хватило бы им омрачающих жизнь переживаний из-за давнего и тяжелого конфликта с сыном, избравшим добровольно такую область деятельности, куда нормального человека черт калачом не заманит. Он занимал большую, но неопределенную должность, жил на северо-востоке, за Полярным крутом, вместе со своей медведеобразной женой Шурой и младшим сыном Александром, и была какая-то насмешка судьбы в том, что самые несоединимые в семье люди назывались одним именем.

Старшую свою дочь, Лилю, сын привез в сорок третьем году в Вятку, в военный госпиталь, где родители его по двенадцать часов стояли у операционного стола. Девочке было пять месяцев, она весила три килограмма, была похожа на высохшую куклу, и с этого дня до самого конца войны они работали в разные смены, – обычно Александр Ааронович брал себе ночь. Лиля, Белой Зиновьевной выправленная, выкормленная, так и осталась у бабушки с дедушкой, заново рожденная к славной доле профессорской внучки. Но приемных своих родителей, зная обидчивость родной матери Шуры, изредка приезжавшей, она звала Белочкой и Суриком, а прадеда – дедушкой.

Теперь Бела и Сурик сидели в мягких старых креслах в суровых чехлах, вполборота к кушетке, и делали вид, что не слушают, о чем там шепчутся старик и девочка.

– Дедуль, – ужаснулась Лиля, – и что же, всех-всех врагов на дереве повесили?

– Я же не говорю тебе: это плохо, это хорошо. Я говорю, как было, – с сожалением в голосе ответил прадед.

– Другие придут, и отомстят, и убьют Мордехая... – с тоской проговорила девочка

– Ну конечно, – неизвестно чему обрадовался прадед, – конечно, так все потом и было. Пришли другие, убили этих, и опять. Вообще, я тебе скажу, Израиль жив не победой, Израиль жив... – Он приложил левую руку в филактериях ко лбу и поднял пальцы вверх: – Ты понимаешь?

– Богом? – спросила девочка.

– Я же говорю, ты умница, – улыбнулся совершенно беззубым младенческим ртом дед Аарон.

– Ты слышишь, чем он забивает голову ребенку? – грустно спросила Бела у мужа,

Второго марта того же года. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru когда они остались в своей комнате с двуспальным, как шутил Сурик, письменным столом...

- Белочка, он простой сапожник, мой отец. Но не мне его учить. Знаешь, иногда я думаю, было бы лучше, если бы и я остался сапожником, - хмуро сказал Сурик.

- О чем ты говоришь? Обрато уже не пускают! - раздраженно ответила умная Белочка.

- Тогда ты можешь не волноваться из-за Лилечки, - усмехнулся он.

- А! - махнула рукой Бела. Она была практичной и не такой уж возвышенной. - Этого я как раз не боюсь! Я боюсь, что она сболтнет что-нибудь в школе!

- Душа моя! Но именно теперь это уже не имеет никакого значения, пожал плечами Сурик.

Бела Зиновьевна беспокоилась напрасно. Лиля ничего и не смогла бы сболтнуть: с самой осени в классе с ней не разговаривали. Никто, кроме Нинки Князевой, которую всё переводили в школу для дефективных, да никак бумаг не могли собрать. Крупная, редкостно красивая, не по-северному рано развившаяся Нинка была единственной девочкой в классе, которая, по своему слабоумию, не только с Лилей здоровалась, но и охотно становилась с ней в пару, когда выводили это шумно пишущее стадо в какой-нибудь обязательно краснознаменный музей.

У времени были свои навязчивые привычки: татары дружили с татарами, троечники с троечниками, дети врачей - с детьми врачей. Дети еврейских врачей - в особенности. Такой мелочной, такой смехотворной кастовости и Древняя Индия не знала. Лиля осталась без подруги: Таню Коган, соседку и одноклассницу, родители отправили в Ригу к родственникам еще до Нового года, и потому последние два месяца были для Лили совсем уж непереносимыми.

Любой взрыв смеха, оживления, любой шепот - все казалось Лиле направленным против нее. Какое-то темное жужжание слышала она вокруг, это было жукастое черно-коричневое "ж", выползающее из слова "жидовка". И самым мучительным было то, что это темное, липкое и смолистое было связано с их фамилией, с дедом Аароном, его кожаными пахучими книгами, с медовым и коричневым восточным запахом и текучим золотым светом, который всегда окружал деда и занимал весь левый угол комнаты, где он лежал.

И к тому же - оба эти чувства непостижимым образом навсегда были сложены вместе: домашнее золотое свечение и уличное коричневое жужжание.

Едва раздавался хриплый и долгожданный звонок-освободитель, Лиля смахивала свои образцовые тетради в портфель и неслась на тяжелых ножках к раздевалке, чтобы скорее-скорее, не застегивая пуговиц и злобного подшейного крючка, выскочить на воздух и быстро, через комья снежно-серой каши, через лужи с битым льдом, спадающими калошами брызгая на чулки, на подол пальто, еще через один двор - и в свой подъезд, где успокаивающе пахнет сырой известкой, дальше лестница на второй этаж без площадки, с плавным поворотом, к высокой черной двери, где теплая медная пластинка с фамилией Жижморский, их ужасной, невозможной, постыдной фамилией.

В последнее время прибавилось еще одно испытание: у выхода из школьного двора, раскачиваясь на высоченных ржавых воротах, ее поджидал страшный человек Витька Бодров, по-дворовому Бодрик. У него были жестяно-синие глаза и лицо без подробностей.

Игра была незамысловата. Выход из школьного двора был один, через эти самые ворота. Когда Лиля подходила к ним, стараясь погуще затесаться в толпу, чуткие одноклассницы либо отступали немного, либо пробегали вперед, а когда она вступала в опасное пространство, Бодрик отталкивался ногой и, чуть пропустив ее вперед, направлял гнусно скрипящие ворота ей в спину. Удар был несильный, но оскорбительный... Каждый день он сообщал игре нечто новое. Однажды Лиля развернулась, чтобы принять удар не спиной, но лицом, схватилась за железные прутья и повисла на них.

В другой раз она встала поодаль ворот и долго ждала, делая вид, что и не

Второго марта того же года. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru собирается идти домой. Но у Бодрика терпения и свободного времени было предостаточно, и, продержав ее так с полчаса, он с удовольствием пронаблюдал, как она пытается протиснуться между прутьями ограды. Попытка эта не удалась, в эту узкую щель едва могла протиснуться самая худенькая из девочек, да к тому же не отягощенная толстым пальто.

Был удачный день, когда ей удалось проскочить перед старой учительницей Антониной Владимировной, изобразившей своим восточносибирским лицом крайнее удивление по поводу такой невоспитанности.

День ото дня аттракцион развивался. На него собирались поглазеть все, кому не жаль было времени. Зрителей день ото дня становилось все больше, и как раз накануне они были вознаграждены захватывающим зрелищем: Лиля предприняла отчаянную и почти удачную попытку перелезть через школьную ограду, увенчанную плоскими чугунными пиками. Сначала она просунула между прутьями свой портфель, а потом поставила ногу в заранее намеченном месте, где несколько прутьев было изогнуто. Она долезла до самого верха, перекинула одну ногу, потом вторую и тут поняла, что сделала ошибку, не развернувшись заранее. Замирая от страха, она проделала разворот и медленно потекла вниз, прижимаясь лицом к ржавому железу.

Пола ее пальто зацепилась за пику, натянулась. Сначала она не поняла, что ее держит, потом рванулась. Честный коверкот старого профессорского пальто, доживающего свою перелицованную жизнь на юном пухлом теле, напрягся, сопротивляясь каждой своей добротной крученной ниткой, напружинился.

Восторженные наблюдатели загудели, Лиля рванулась, как большая толстая птица, и пальто отпустило ее, издав хриплый треск. Когда она сползла на землю, Бодрик стоял возле нее, держа в руках испачкавшийся портфель, и ласково улыбался:

- А ты молодец, Лилька. Изворотливая. А еще слазишь?

И обманым охотничьим движением он подбросил ее портфель как бы легонько, но кисть его была точна, как у австралийского аборигена. Портфель взвился вверх, качнул боками, развернулся в воздухе и шлепнулся по ту сторону ограды. И все засмеялись.

Лиля подняла упавшую шерстяную шапочку с двумя глупыми хвостами и, не оглядываясь, все силы собрав на то, чтобы не бежать, пошла к дому.

Ее не преследовали. Через полчаса преданная Нинка принесла ей вытертый носовым платком портфель и сунула его в дверь.

Утром Лиля пыталась заболеть, пожаловалась на горло. Бела Зиновьевна заглянула ей в рот, сунула под мышку градусник, поймала взглядом исчезающий столбик ртути и хмуро вынесла приговор:

- Вставай, девочка, надо работать. Всем надо работать.

В этом состояла ее религия, и богохульства лени она не допускала. Лиля уныло поплелась в школу и просидела три урока, томясь неизбежностью прохода через адовы врата. А на четвертом уроке произошло нечто.

Было всего лишь первое марта, и руль непотопляемого корабля не выпал еще из рук Великого Кормчего. Александр Ааронович и Бела Зиновьевна, если бы узнали об этом невероятном поступке от скрытной Лилечки, высоко бы его оценили.

Итак, на четвертом уроке, ближе к концу, Антонина Владимировна, сверкая самой одухотворенной частью своего лица, железными зубами, состоящими в металлическом диалоге с серебряной брошечкой у ворота в форме завитой крендельком какашки, взяла в руки полуметровую полированную указку и направилась к пыльному пестрому плакату в торце класса. Держа указку как рапиру, она ткнула ее концом в негнущееся слово "интернациональный".

- Посмотрите сюда, дети, - она так и говорила: "дети", не гимназическое "девочки", не безликое "ребята", - здесь изображены представители всех народов нашей великой многонациональной родины. Видите, здесь и русские, и украинцы, и грузины, и... - Лиля сидела вполборота назад в тихом ужасе - неужели она сейчас это произнесет и весь класс обернется к ней? - и татары, - продолжала

Второго марта того же года. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru учительница.

Все обернулись на Раю Ахматову, лицо ее налилось темной кровью. А Антонина Владимировна все неслась по опасному пути:

- И армяне, и азербайджанцы, - так и сказала "азербайджанцы"... мимо, мимо... нет!.. - и евреи!

Лиля замерла. Весь класс обернулся в ее сторону. Дура святая, чистопородная разночинка, от деда-пономаря, от матери-прачки, дева чистая, с медсправкой "виргина интакта", с удочеренной в войну сиротой, косой и злой Зойкой, поклонница Чернышевского и обожательница Клары Цеткин, Розы Люксембург и Надежды Константиновны, - была в ней такая провидчески феминистическая жилка, - верующая в "материя первична", как ее дед-пономарь в Пречистую Богородицу, честная, как оконное стекло, она твердо знала, что враги - врагами, а евреи - евреями.

Но величия этого поступка Лиля тогда не поняла. Голым просветом между коротким чулком и тугой резинкой ненавистных голубых штанов на шекочу-ше-китайском начесе она прилипла к выкрашенной маслом парте.

- И все народы у нас равны, - продолжала Антонина Владимировна свое святое учительское дело, - и нет плохих народов, у каждого народа бывают и свои герои, и свои преступники, и даже враги народа...

Она еще что-то говорила нудное, лишнее, но Лиля ее не слышала. Она чувствовала какую-то маленькую жилку, как она бьется возле носа, и трогала пальцем это место, соображая, заметно ли это дерганье ее соседке через проход Светке Багатурия.

Возле школьных ворот Лилю ожидала удача: Бодрика не было. С чувством полного и навсегда освобождения, совсем не подумав о том, что он может появиться опять послезавтра, вприпрыжку она понеслась домой. Дверь подъезда, обычно плотно удерживаемая тугой пружиной, была на этот раз чуть приоткрыта, но Лиля не обратила на это внимания. Она распахнула ее и, шагнув со света во тьму, смогла различить только темный силуэт стоящего у внутренней двери человека. Это был Бодрик. Это он слегка придерживал дверь ногой, чтобы заранее разглядеть входящего.

Их разделяли теперь два шага полной тьмы, но она почему-то увидела, что стоит он, прижавшись спиной к внутренней двери, раскинув крестом руки и склонив набок густо-русую голову.

Он был актером, этот Бодрик, и теперь он изображал что-то страшное и важное, думал, что Христа, а на самом деле был маленьким, дерзким и несчастным разбойником. А девочка стояла напротив со скорбно-семитским лицом - высоким переносьем тонкого носа, книзу опущенными наружными углами глаз, с нежно-выпуклым ртом, с тем самым лицом, какое было у Марии Иосиевой...

- А зачем ваши евреи нашего Христа распяли? - спросил он ехидным голосом. Спросил так, как будто распяли евреи этого Христа исключительно для того, чтобы дать ему, Бодрику, полное и святое право шлепать Лильку по заду ржавыми железными воротами.

Она замерла в ожидании, словно забыв о возможности выскочить на улицу, сбегать немедленно. Ведь дверь парадного была у нее за спиной. Она почему-то стояла столбом.

Бодрик шагнул к ней, обхватил крепко, скользнул руками вниз и, задрвав незастегнутое пальто, попал рукой как раз на этот голый промежуток между чулком и подтянутой к самому паху резинкой от штанов.

Она вывернулась, метнулась в угол, ткнула Бодрика в какое-то уступчивое место портфелем. Он охнул, а она, в полной темноте сразу попав пальцами в дверную ручку, выскочила на улицу. Плотное розовое пламя вспыхнуло в голове, весь воздух вокруг воспламенился, и все залилось такой красной могучей яростью, что она задрожала, едва вмещаая в себя огромность этого чувства, которому не было ни названия, ни границ.

Второго марта того же года. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Дверь медленно открылась. Плечом вперед, чуть косо, выходил Бодрик. Она бросилась на него, схватила его за плечи и, взыв, со всей силой тряхнула о дверь. От неожиданности нападения он совершенно растерялся. То сложное чувство, которое он к ней давно испытывал, смесь тяги, злости, неосознанной зависти к ее сытой и чистой жизни, по своей силе и внутренней оправданности не шло в сравнение с тем огненным взрывом ярости, который бушевал в ее душе.

Он пытался оторвать ее от себя, стряхнуть, но это было невозможно. Он даже не мог как следует размахнуться, чтобы ее треснуть. Ему удалось только переместиться за угол от парадного, в некую слепую выемку стены, где они не были видны всем проходящим по двору. Но это было не к лучшему. Она трясла его за плечи, голова его ударялась о серый шершавый камень, он лязгал зубами, и единственное, что он смог, – выпростав руку, смазать ее два раза по мокрому красному лицу, причем не по-мужски, кулаком, а всей распущенной пятерней, оставив на ее лице четыре грубых грязных царапины. Но она этого не почувствовала. Она все кидала его о стену, пока вдруг ярость ее, как надувной красный шар, не оторвалась от нее и не улетела. Тогда она отпустила его и, повернувшись незащищенной спиной и вовсе не думая о возможном нападении сзади, беспрепятственно ушла в свое парадное...

..Как он нравился ей минувшим летом... Она стояла за тюлевой занавеской бабушкиной комнаты и часами наблюдала, как он размахивал длинным шестом с развевающейся на конце тряпкой, как его голуби, лениво поднимаясь, сначала беспорядочной неопрятной кучей вились над голубятней, а потом выстраивались, делали широкие плавные крути, все шире, шире, и уносились в чисто вымытое теплое небо. Проходя мимо их жилья, двухоконного низкого строения с прилепленной голубятней, сараем и курятником, она замедляла шаг, разглядывая увлекательные внутренности чужой частной жизни: их железные бочки, верстак, у которого работал старший Бодров, вышедший тогда на временную свободу из своего обычного заключения, лежащую на земле где-то свинченную ржавую колонку...

В конце лета Бела Зиновьевна, неуклонно исполняющая какие-то анахронические, ей одной ведомые обязательства богатых перед бедными, послала Лилю в дом дворничихи с жестко отглаженной, аккуратно сложенной стопкой ее, Лилечкиных, вещей, из которых в этом году она так стремительно выростала. Девочки Бодровы, Нинка и Нюшка, с визгом и шумом разделили Лилино добро, Тонька-дворничиха поблагодарила и сунула Лиле в руку маленький зеленый огурец, а Бодрик, еще издали завидев Лилю, убрался к своим голубям, кроликам и цыплятам и не показался во все время, что Лиля оставалась в их отгороженном от общего двора загоне. А Лиля все поглядывала в ту сторону, не выйдет ли...

И только теперь, в парадном, она поняла, что в этом и было самое ужасное.

Старой Насти, жившей у них лет двадцать, дома не было. Прадед, к которому было сунулась Лилечка, безучастно спал, изредка всхрапывая. Она забилась в бабушкину комнату, на "горестный диванчик", как называла Бела Зиновьевна кресло-рекамье, единственный неуввоенный предмет в своем царстве парности, где все двоилось, словно комната была перегороджена вдоль невидимым зеркалом: две гордые кровати с бронзовыми накладками, две прикроватные тумбочки, две одинаковые рамы чуть разнящихся между собой картин. На этом "горестном диванчике" спала обыкновенно Лиля во время болезни, когда бабушка забирала ее в свою комнату. Сюда приходила поплакать, когда случалось в ее детской жизни какое-нибудь огорчение.

Сейчас ее знобило, ныло в низу живота, и она свернулась на диванчике, укрывшись с головой тяжелым клетчатым халатом с витым, местами отпоротым лиловым шнуром. Ей хотелось уснуть, и она мгновенно уснула, все держа в голове не уходящую и во сне мысль: как хочется уснуть...

Сон был хоть и долгий, но весь застывший на одной ноте – нудной боли и безмерного отвращения. Отвращения к шершавой ткани диванной подушки, к мыльному, неприлично исподнему запаху "Красной Москвы", любимых бабушкиных духов. И все это покрывалось безмерным желанием уйти ото всего этого в какую-то круглую, теплую, давно ей знакомую щель и погрузиться там в сон более глубокий, где нет ни запахов, ни боли, ни тревожного стыда, неизвестно откуда взявшегося. Туда, где ничего, совсем ничего нет.

Она не слышала глухой суеты за стеной возле деда, Настиных всхлипов, тихого звяканья шприца.

Второго марта того же года. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Поздно, в восьмом часу вечера, ее разбудила бабушка, и оказалось, что ей все-таки удалось уйти совсем далеко, потому что, проснувшись, она не сразу сообразила, где находится, – из такой далекой дали вернулась она в бабушкину комнату, в парно-симметричный и правильный мир, и поразилась склоненному над ней яркому лицу, которое было словно перевернутым и неузнаваемым, как будто просторы сна, в котором она пребывала, были по природе своей столь убедительно единственными, что исключали и самую возможность какой бы то ни было парности, симметрии.

Бела Зиновьевна, со своей стороны, с изумлением разглядывала четыре свежие царапины, которые шли ото лба через щеки к самому подбородку.

– О Господи, Лиля, что с твоим лицом? – спросила Бела Зиновьевна.

Девочка на минуту задумалась – так глубоко она забыла дневное происшествие. Потом оно всплыло, все разом, со всей предыдущей неделей и прошлым летом, но всплыло в совершенно неузнаваемом, измененно-ничтожном виде. Все оно было чепухой, незначительной мелочью и давним-давнишним полузабытым событием.

– Ерунда, с Бодриком подралась, – беспечно, улыбаясь сонным лицом, ответила Лиля.

– То есть как – подралась? – переспросила Бела Зиновьевна.

– Да глупости какие-то, зачем Христа распяли... – улынулась Лиля.

– Что? – сведя свои черные брови, переспросила Бела Зиновьевна. И, не слушая ответа, велела ей немедленно одеваться.

Отблеск того гнева, что обуял Лилю около подъезда, взметнулся над ее бабушкой.

– Какая низость, какая черная неблагодарность, – клокотала Бела Зиновьевна, волоча за руку упирающуюся Лилечку к бодровскому жилью. И дело было, в конце концов, не в аккуратных тридцатках, которые Бела Зиновьевна пунктуально преподносила на праздники этой опустившейся несчастной пьянчужке, и не в стопочках старых Лилечкиных, очень еще приличных вещей, а дело было в том, что по симметрическим понятиям ее справедливости не мог Тонькин сын руку поднять на ее чистенькую, ясную девочку, на ее розово-смуглое личико, оскорбить ее своим грязным прикосновением, этими ужасными царапинами. Надо было, кстати, перекисью промыть...

Бела Зиновьевна постучала и, не дожидаясь отзыва, распахнула кривую дверь. В комнате с большой печью, с низко натянутыми веревками с сырым бельем как-то не сразу можно было и разглядеть, где что, где кто. Пахло еще хуже, чем от "Красной Москвы", самым что ни на есть страшным низом – мочой, гнилью, грибом и водорослью.

– Тоня! – повелительным голосом окликнула Бела Зиновьевна, и за печкой что-то зашебурило.

Лиля озиралась по сторонам. Больше всего ее поразил пол. Он был земляной, кое-где покрытый неровными досками. В углу, на железной широкой кровати с ржавыми прутьями, точно такими же, что на школьной ограде, на пестром одеяле лежал Бодрик. В ногах его сидели Нинка с Нюшкой и наматывали на спинку кровати широкие мятые ленты, старательно оплевывая их перед тем, как сделать очередной виток. Возле кровати на полу стоял кривой, потерявший былую округлость таз.

Из-за печки, оправляя на ходу юбку, вышла, слегка покачиваясь, низенькая Тонька.

– Тут я, Белзиновна! – Она улыбалась, и на каждой щеке ее широкого плоского лица промялось по большой и круглой, как пупок, ямке.

– Ты посмотри-ка, что твой Виктор с моей девочкой проделал! – строго сказала Бела Зиновьевна, а Тоня тарачила свои белесые глаза и все никак не могла понять, что ж такое он проделал.

В тусклом освещении царапины, так оскорбившие Белу Зиновьевну, были вообще не

Второго марта того же года. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya1udmila.ru](http://ulitskaya1udmila.ru) заметны. Лиля пятилась задом к порогу. Ей было стыдно. Витька мотнул головой, свесился с постели и тихо блеванул в таз.

- Ах ты зараза! - повернувшись к сыну, крикнула Тонька. - А ну вставай, чего разлегся!..

Они обе молчали, когда шли через двор. Лилия опять тащилась позади, и снова ей было так же тяжело, как днем, перед тем как уснуть. Дома она зашла в уборную, заперлась на крючок и села на унитаз, обхватив руками ноющий живот. Так плохо ей никогда еще не было. Она посмотрела на свои спущенные штаны и увидела на их поднебесной синеве кровавое тюльпановое пятно.

"Я умираю, - догадалась девочка. - И так ужасно, так стыдно".

В этот момент она забыла обо всем том, о чем бабушка ее предупреждала. С отвращением стянула с себя испачканные штаны, сунула их под перевернутое ведро для мытья полов и, опустив исцарапанное лицо в холодные ладони, со стекленеющим сердцем стала ждать смерти...

А смерть, подгоняемая ожиданием, действительно входила в дом. На ковровой кушетке делал последние редкие вздохи старый сапожник Аарон. Он был в забытьи. Веки, давно утратившие ресницы, были закрыты не совсем плотно, но глаз его видно не было, только мутная белесая пленочка. Иссохшие руки лежали поверх одеяла, и на левой были намотаны изношенные кожаные ремешки, которые он, вопреки обычаю, месяц как не снимал. Дети его, профессора, обремененные многими медицинскими познаниями, такими громоздкими и бессмысленными, стояли у его изголовья.

В дворницкой, на железной кровати, лежал Бодрик. У него было сотрясение мозга средней тяжести.

На узкой кушетке, в своем подмосковном доме, укрытый до половины старым солдатским одеялом, лежал мертвый человек.

Но было еще только второе марта, и пройдет несколько огромных дней, прежде чем выйдет на деревянные подмостки Лилечкин отец, сын приличных родителей, отекающий, с черным от горя сердцем и невинно-голубыми погонами, и объявит многотысячному серому прямоугольнику - той части великого народа, что терялась в обесцвеченной немощной полиграфии дали на пестреньком плакате в торце Лилечкиного класса, - о том, что он умер.

А про запершуюся в уборной девочку в ту ночь забыли.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке <http://ulitskaya1udmila.ru/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!